

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №10 ГАЗЕТА

Александр Громов / Любовь





ГРОМОВ Александр Витальевич

Родился в 1967 году в Подольске. С 1968 года живёт в Самаре. Служил в Афганистане. В 1993 году окончил Литературный институт им. Горького. С 1994 года член Союза писателей России. С 1995 г. работает в Самарской областной писательской организации. В 1995 году основал всероссийский литературный журнал «Русское эхо». Публиковался в журналах «Москва», «Русское эхо», «Русская провинция», «Всероссийский соборъ», «Родная Ладога», «Немига». Автор книг: «Лёгкое терпкое вино» (1997), «Слава Богу за все» (2000), «О Любви» (2003), «Государственное дело» (2011), «О мире, войне и любви» (2016), «Жара» (2017) и др. Награжден медалью «За боевые заслуги». Лауреат Всероссийской литературной премии «Русская повесть» (1996), премии им. Александра Невского (2011), Национальной премии «Имперская культура» им. Эдуарда Володина (2023) и др.

Николай ШИПИЛОВ (1946–2006)

Из лирики разных лет

* * *

Передайте любимой,
Что мой поезд ушел,
Что отстукали ливни
Ей письмо на перроне.
На откосе рябину
Не возьмешь в вещмешок
И тревогу окурком
На асфальт не уронишь.

Если писем не будет,
Есть, о чем пожалеть,
Станет жарко от мысли,
Что ты не жалеешь,
Что какие-то парни
Одних со мной лет —
Словно красные числа,
Что ты с ними теплее...

Да, ты вдруг не заплачешь,
Не бросишься вслед,
Разве только мой адрес
Ты узнаешь у мамы,
И все ищешь, наверно,
Свой счастливый билет,
А он здесь, у меня,
Завалился в кармане...

1965

ДУРАК И ДУРНУШКА

В нашем доме, где дети, коты
и старушки
Во дворе дотемна прожигали
жизнь,



Жили двое в служебке —
дурак и дурнушка,
И любили: она — никого, он — её.

Он ей пот утирал потемневшим
платочком,
А она хохотала с метлою в руках.
Их жалели старушки. Жалели —
и точка,
В тот момент забывая о своих
дураках.

Я носил им тайком свои детские
книжки.
Я грозил кулаком тем, кто их
обижал.
Все равно им рога надставляли
мальчишки,
Когда старый фотограф во двор
наезжал.

Я по свету бродил. Часто был я
без света.
Мне любимые люди ловушки
плели.
Кто меня породил? Я считаю,
что ветер
Самых дальних краев самой милой
земли.

И упал я. Сгорел, словно синяя
стружка
От огромной болванки
с названием «народ»...
И несут меня двое — дурак
и дурнушка,
Утирая, друг дружке платочками
пот...

1972

ПОСЛЕ БАЛА

*Посвящается Саше Бажану —
нашему «Алеку»*

Никого не пощадила эта осень.
Даже солнце не в ту сторону упало.
Вот и листья разъезжаются,
как гости,
После бала, после бала,
после бала.

Эти двое в тёмно-красном
Взялись за руки напрасно:
Ветер дунет посильней —
и всё пропало.
А этот в жёлтом, одинокий,
Всем бросается под ноги —
Ищет счастья после бала,
после бала.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная коллегия:

Дмитрий Белюкин

Алексей Варламов

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный редактор

Елена Русакова

В оформлении обложки

использованы картины
Валентина Сидорова

Права на использование
товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2026

Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2026 №10 /1999/ Основана в 1927 г.

Александр Громов

Любовь

Повесть

1

По-настоящему Люба влюбилась в девятом классе. Она ожидала светлого и томного, как воскресный июльский день, но, поняв, что любит, испытала смятение и страх. И этот поднимающийся изнутри ледящий страх был притягателен и даже приятен. Влюбилась Люба в приехавшего из города молодого учителя истории.

Учитель появился в селе в конце прошлого лета, словно инопланетное существо. Он не был красавчиком, как порой называли городских: среднего росточка, худоват, слегка сутулился, и лицо его, на сельский взгляд, казалось бледным и вытянутым, словно корешок петрушки, но глаза были голубые и понимающие. Откуда у молодого человека такие понимающие глаза? Это обескураживало и невольно вызывало уважение.

Судачили, что после института, когда только и разговоров было о грянувшей перестройке, о том, что молодые должны решать судьбу страны, да и много ещё чего говорилось, так много, что становилось непонятно о чём, трое друзей попросили распределить их по сёлам, так сказать, пойти в народ сеять умное, доброе, вечное. Сей идеализм вызвал в деканате некоторое удивление, ибо на всех троих были иные виды, но тут с этой перестройкой такая круговерть началась, что долго никто уговаривать не стал: идите куда хотите, ну, парни и пошли. Эта неизвестно откуда взявшаяся легенда ещё более обратила мнение сельчан в пользу молодого учителя. Правда, старик Данилыч, закоренелый рыбак, сам похожий на пересушенную изжелтевшую сорогу, но живший не за счёт рыбы, а за счёт домика у реки, который время от времени сдавал наезжавшим шумным городским компаниям, махнув рукой, предрёк: «Всё равно сбежит». Но в это не верилось. Звали молодого учителя Артём Андреевич.

До его появления Люба как бы не замечала себя. С рождения она ощущала окружающий мир естественным и неизменным, словно это была частичка её или, наоборот, она была частичкой этого мира (соотнесение части и целого зависело от настроения). Мир вырослел вместе с Любой, но по сути всё равно оставался неизменным. И потому романтические книги, которые любила читать Люба, всегда воспринимались как выдумка, у неё даже мысли не закрадывалось хотя бы помечтать о принцах и принцессах. Она просто знала, что любовь — это светлый воскресный день, а тут вдруг оказалось страшно.

Росточку Люба была повыше среднего, с плотно сбитой, упругой фигурой, казалось, тело еле сдерживает распирающую изнутри натуру — вся в мать, бывшую некогда первой красавицей на селе. Волосы Люба не стригла, как многие сделали в

школе ещё в средних классах, и теперь на спине лежала тугая, почти по пояс коса. И цвет волос получился причудливый — и не русский, и не пшеничный, а когда весна уже войдёт в силу, бывает у речки такой песок, белёсый и тёплый. Кофточка на груди у неё уже заметно оттопыривалась, да и всё остальное развивалось согласно природе и даже, наверное, опережая. И когда Люба проходила улицей, сидящие на скамеечках старики долго смотрели ей вслед. Потом один говорил: «А помнишь, Ванятка, как мы с тобой из-за Прошки-то дрались?» У Ванятки чуть вздрагивали усы, он опускал голову и начинал медленно скручивать сигарку.

Любу же собственная красота не занимала, у неё была своя печаль. Печаль эта, правда, со временем перешла в привычку — так привыкает человек к боли. Но иногда боль давала о себе знать. Дело было в отчуждённости Любы от сверстников. Её не принимали и сторонились, как сторонятся неизвестного и опасного, тёмной комнаты, например. Чтобы приглушить необъяснимый страх (действительно, что может быть страшного в тёмной комнате?) и убедить самих себя, что у них всё в порядке, люди высмеивают тёмную комнату, мол, всё это бабушкины сказки, всячески демонстрируя пренебрежение к ней. У детей это выходит жёстче и грубее. Чтобы преодолеть страх, надо не просто проникнуть в тёмную комнату, но ещё и напакостить там. И тогда самая дерзкая выходка в отношении непонятого получает всеобщее одобрение. Даже взрослых.

С младших классов отчуждённость мучила Любу. Особенно обидно было, когда не приняли в пионеры. Она плакала, уткнувшись маме в колени, а та молча гладила её по голове и смотрела в окно. В конце концов Люба включила школу в окружающий мир, который был, есть и будет, и потому его надо просто принять как данность и не пытаться изменить самому, а одноклассникам надоело измываться над человеком, который внешне никак на это не реагирует, для самоутверждения были найдены другие объекты, Любу просто перестали замечать, но прозвище Староверка за ней осталось.

2

Разумеется, никакой староверкой Люба не была. Да и вообще верующей себя не считала. Мама — другое дело. Отец Николай называл маму камнем, на котором соиздается церковь. Люба понимала, что бабушка шутит, но и представить храм без мамы не могла. Катерина Васильевна была и старостой, и псаломщицей, и просвирней, и уборщицей, и всем, кем надо было быть... А Люба ей помогала. Мама никогда не заставляла Любу, не просила даже, но для Любы помогать маме в храме стало таким же привычным делом, как ухаживать за бабушкой, ходить в школу, магазин, читать книги, дышать, наконец.

А Староверка... так это, может, потому, что в сравнении со строящимся коммунизмом православная вера и впрямь для многих считалась старой.

Когда её не приняли в пионеры, то обиделась она не на тех, кто её не принял, а на себя, что она не сумела правильно всё объяснить. От Любы потребовали признаться: верит ли она в Бога? Она удивилась вопросу, задумалась и честно ответила: «Нет», — и ей показалось, что расстроила спрашивавших, будто они не такого ответа от неё ждали, тогда она постаралась объяснить: «Вот мама у меня верит, отец Николай, матушка Ксения... — и вздохнула: — А я так не умею...» Тогда её спросили: «Зачем же ты ходишь в церковь?» — «Маме помогаю», — бесхитростно призналась Люба. «И как же ты помогаешь?» — продолжали допытываться у неё. «Подсвечники чищу, полы мою, мало ли чего...» — «И хорошо тебе в церкви?» — задали новый вопрос, и Люба так же просто призналась: «Бывает очень хорошо, — тут вспомнила вечернюю и добавила: — Батюшка Николай, когда в духе, выйдет да так возгласит «Восстаните», что аж мурашки по коже». И тут же изобразила это «восстаните». Сидевшие за столом улыбнулись, и это Любу приободрило. «А на Пасху-то как хорошо, как радостно! — продолжила она. — Батюшка разрешает в колокол позвонить. А там высоко, всё село видно, и далеко видно. Так красиво!» Тогдашняя учительница русского языка и литературы, она ещё не ушла на пенсию, сказала: «Да примите вы её». — «Анастасия Павловна! — возразили ей. — Да как же можно: она будет в галстук в церковь ходить, представляете!» — «Не будет, — пообещала Анастасия Павловна. — Она его перед церковью снимать будет». — «Она нам всю организацию разложит». — «Одна? Всю организацию? Что-то какая-то ненадёжная организация у вас...» — «Не “у вас”, а “у нас”», — поправили старую учительницу и потребовали от Любы честного слова, что она никогда больше не пойдёт в церковь. «Как же так... — растерялась Люба. — А Пасха...» — «А так, — объяснили ей, — пионер и церковь — вещи несовместимые». — «А мама...» — жалобно попросила Люба. «Мы не маму в пионеры принимаем, а тебя», — строго сказали ей, и Люба на несколько секунд замерла, ошарашенная таким разделением мира, потом почувствовала, что вот-вот разрешётся, развернулась и бросилась бежать.

— Не ходи, — глухим ровным голосом сказала мама, когда Люба, захлёбываясь слезами, уткнулась в её колени.

Люба подняла на маму мокрые удивлённые глаза.

Ни одной жилочки не дрогнуло на красивом мамином лице, она продолжала смотреть в окно и гладить Любу по голове.

Люба побоялась что-либо ещё рассказывать маме, как бы та не передумала, и выскользнула из-под её руки.

Когда она сообщила в пионерской, что в церковь больше не пойдёт, то снова не почувствовала радости

окружающих. Её и саму-то не покидало чувство, что она делает что-то нехорошее, неправильное, она не думала о предательстве, отречении, просто тревожил знобящий холодок, который немножко потрясывал и подталкивал торопиться. И словно кто-то подсмеивался над ней, потому что Люба всё больше понимала: отчуждение осталось. Более того, она почувствовала, что её теперь презирают. Будто она обманула, нет, не Бога, а их. Теперь она сама стала такой же, как и они: нет ничего иного, чудесного, и все эти «восстаните» — выдумки и детское воображение.

Старшая пионервожатая сняла с себя галстук и повязала его Любе. Испытательного срока дали месяц.

Люба же неодобрительные взгляды восприняла по-своему: ей не доверяют, и, чтобы доказать, что на неё можно рассчитывать как на настоящего пионера, окунувшись в общественную работу, стараясь помочь во всяком деле, даже там, где совершенно ничего не понимала. Так она осталась делать стенгазету, а получилось, что промаялась без толку два часа возле одноклассников. Впрочем, она послушно меняла грязную воду в стаканах и мыла кисточки.

Этого рвения не заметить было нельзя. Кто говорил, что «выслуживается», кто — «грехи замаливает», кто — ещё что, но всех это страшно раздражало. Но в глаза хвалили. И Любе это нравилось, она будто и не замечала презрительных взглядов. Галстук она примеряла перед зеркалом и так, и эдак, он не воспринимался «частицей красного знамени», а скорее отличительным знаком, который наконец допустил Любу быть со всеми вместе, осталось только немного постараться, и она станет равной.

Но тут подросла Троица и Люба затосковала. Живо представилась устланная свежей травой церковь, все иконы украшаются цветами, а — воздух! Какой ароматный дух стоит на Троицу в церкви! А как же без неё батюшка Николай поедет выбирать берёзки? И кто же будет помогать ему расставлять деревца в церкви?

«Слава Богу, каникулы начались, — подумала Люба, — никто меня не заметит».

Всю Троицу — и когда ездили за берёзками, и когда украшали храм, и во время самой службы, да и после на праздничной трапезе, когда во дворе расставили столы, нанесли угощений и выставили огромный самовар, — не отпускала тревога, что вот её поймут, обман раскроется, и ещё хуже: начнут обличать, и непонятно, что было ужаснее: когда скажут при всех бабушках, что она, вступая в пионеры, сказала, что больше не будет ходить в храм, или когда на пионерском собрании объявят, что она нарушила слово.

Как же! Не заметили! Столкнулась через пару дней в магазине с пионервожатой Мариной, той самой, что повязала свой галстук, а та: «Что ж ты, Люба, обманула нас!» — и весело так говорит, вроде даже как смеётся. Люба ничего не ответила, опустила

глаза, купила хлеба и ушла. «Выгонят», — решила она и отложила красное украшение в шкаф. И сразу как гора свалилась. Так легко и хорошо стало.

Все терзания разом отпустили, и всё то праздничное, что никак не могло войти, словно гость стояло рядом, а злая собака не пускала, наполнило Любино существо радостью и покоем. И можно было снова помогать маме.

В каникулы никто Любу из школы не беспокоил, а там в стране такая заваруха началась, что про Любу и не вспомнил никто. К тому же оказалось, что и в церковь ходить не возбраняется, а для плюрализма это даже и самое то.

3

Ещё с ними жила бабушка. Скорее, впрочем, не жила, а мучилась, мама так и называла её — мученица. Жила бабушка в специально сделанном пристрое к дому, где стоял топчан, с которого она не вставала, столик и стул. Раньше бабушка лежала в доме, но смрад становился всё сильнее, и как ни трудно удивить сельских жителей запахами, но это живое гниение заставляло не столько воротить нос, сколько испытывать необъяснимый ужас, словно иной, страшный мир своими запахами напоминал живым о своём существовании. К постоянно находящейся рядом смерти можно привыкнуть, но вот тем, кто заходил в гости к Любаевым, становилось плохо.

Всякие намёки сочувствующих односельчанок об отселении мамы Катерина пресекала, но тут батюшка благословил — пристрой! И вот уже пять лет парализованная бабушка лежала там.

Отчего случился паралич, в селе знали все, кроме, пожалуй, Любы.

Бабушка Любы Елена Петровна была неместная. Дед Пётр Николаевич привёз её, когда сам неожиданно вернулся в село после хрущёвских сокращений в армии. Сами сокращения для него оказались ударом, который он не мог простить до конца своих дней. До этого жизнь его вполне устраивала и даже баловала подарками. Главный подарок, как сам считал Пётр Любаев, то, что войну, на которую попал в сорок четвёртом, он прошёл без царапинки. Конечно, будучи авиационным техником, он не ходил в атаки, не бросался под танки, не схватывался с врагом в рукопашной, но и аэродромы, где он служил, тоже обстреливали и бомбили, правда, ближе к концу войны всё реже и реже. Раз одна мина угодила в палатку, где была столовая, а Пётр задержался, потому что старший техник оставил перебирать рулёжную тягу у одного из «Илов», обещал прийти и проверить после обеда, а сам погиб, и ещё двое с ним, несколько человек были ранены. Однажды, когда передислоцировались на новый аэродром и Пётр ехал в колонне с техническим оборудованием, попал под настоящую бомбёжку, разбило ехавшую впереди

машину, а его не поранили даже осколки от разлетевшегося лобового стекла.

А мог погибнуть и по глупости в самом конце войны. В Польше решили с товарищем сходить в деревню, сейчас даже непонятно, зачем пошли: спирт свой был, кормили нормально. Полячки? Да тоже как-то не особо... посмотреть разве что... на мирную жизнь. Действительно уже чувствовалось, что война скоро закончится, а тут ещё весна на подходе, и уже свербело внутри: вот-вот и они вернутся домой, в тихую и спокойную жизнь, и хотелось взглянуть на неё, просто постоять на краю мирной жизни. До деревни было километра два сквозь небольшой реченький лесок. И в леске уже вовсю ощущалось пробуждение жизни. Снег стаял, сквозь прошлогоднюю траву из чёрной земли пробивалась свежая зелень, и почки на деревьях набухли, и если чуть скovyрнуть, то можно услышать чудесный запах нарождающейся листвы. Вот он остановился и пытался как можно глубже вдохнуть его, влить в себя этот вспомнившийся запах мирной жизни, когда ушедший чуть вперёд товарищ охнул, всплеснул руками, словно пытаясь заслониться от чего-то, неловко осел и завалился на бок. Пётр постоял немного, ожидая, когда шутка кончится, потом подошёл к товарищу, потрогал его, а когда перевернул, то увидел жуткое месиво вместо правого глаза. Это был самострел, его поставили как раз на тропе от аэродрома к деревне.

Домой, однако, сразу после окончания войны вернуться не получилось: пришлось ехать через всю страну на Дальний Восток и добивать японцев. После этого Петра оставили служить ещё на два года, а потом он привык, стал старшим техником, и уже не захотелось менять устоявшейся жизни. Он приезжал в село, повидался с родителями и уехал опять на Дальний Восток. Техником он был хорошим и исполнительным, более того, он копался и отлаживал самолёты, когда уже казалось, всё проверено и перепроверено. Мало кто предполагал, что это не похвальное желание сделать свою работу максимально хорошо, а просто Пётр знал, что, когда он у самолёта, он защищён. Впрочем, как раз то, что он постоянно находился на аэродроме, вольно-невольнo помогало тщательнейшим образом следить за техникой. Такое отношение нельзя было не заметить, и через некоторое время его перевели в новый учебный лётный центр. Так Пётр Любаев оказался в муромских лесах, где и встретил Елену.

Ну, не в самих лесах, конечно. Елена жила в соседней с учебным центром деревне. Нет, в деревню Пётр после того памятного польского случая не ходил, он вообще никуда не выходил из гарнизона, даже за обильными грибами, коих было в округе множество, даже на рыбалку к ближним озёрам его вытаскать было невозможно — Пётр чётко усвоил: его защищают самолёты.

Елена сама нашла его. Она, как и большинство женщин деревни, устроилась на работу в лётный

центр. В основном здесь служили офицеры и готовили будущих офицеров, так что держать в качестве obsługi солдат считалось несолидным. Поэтому в столовую, прачечную, ателье привлекалось местное женское население, что, кстати, имело не только практическую цель, но, учитывая в основном мужской, по большей части холостой, контингент, душевную и отчасти развлекательную. Кому как повезёт.

Петру повезло с душевной стороны. Дорога в деревню пролегла как раз через аэродром. Вообще-то его полагалось обходить, но вечером, когда уже никаких полётов не было, женщины возвращались домой напрямки через лётное поле. Тут Елена и застала его. Она остановилась, отделившись от остальных женщин, и спросила: «А вы чего же всё здесь, там уж поужинали все?» «Проверяю...» — Пётр оторвался от подкрылков и некоторое время смотрел то на женщину, то на самолёт, словно сравнивая. «А хотите, я вам сюда ужин принесу?» Пётр вообще-то уже собирался в гарнизон, но тут задумался. «Я мигом», — сказала Елена и побежала обратно. А остальные женщины так и шли, не останавливаясь и не оглядываясь, будто ничего не произошло. «Отряд не заметил потери бойца», — пропел Пётр и, усевшись под крыло, стал ждать.

Елена была старше Петра на два года и вдовствовала: муж погиб в первый же месяц войны, детей завести не успели, сама она была крепка телом, и всё в ней показалось Петру сильно и на совесть сделано, как в хорошем самолёте. «Как в дальнем бомбардировщике», — определил Пётр и полетел.

После женитьбы Елена уже перешла работать в гарнизонный магазин, где работали только офицерские жёны. А с рождением Кати всё окончательно определилось и ничего не хотелось менять, но тут этот Хрущ... Как только Пётр поминал его, сердце стжималось до сухости, и становилось нестерпимо больно, что вот такая жизнь оказалась разрушенной.

Ему дали майора и квартиру в Подмоскoвье. Елена Петровна тут же устроилась в домоуправление, а вот Пётр никак не мог найти себе места. Отчего-то в городе он чувствовал себя в опасности. Может, потому что не было рядом самолётов, может, потому что никогда до этого не жил в городе, где каждый встречный человек незнаком и не известно, чего от него ждать.

В родное село он приехал на похороны отца. И тогда все отметили его усталое лицо, которое вдруг вздрагивало, напрягалось, словно у человека, который хочет заснуть, и вдруг привидится ему, он вскакивает, озирается, а что привиделось, где это... Но к третьему дню Пётр заметно помягчел, стал со всеми здороваться. Стало даже казаться, что он специально ходит по селу и со всеми здоровается. Уезжал со слезами и долго не мог оторваться от заднего окна автобуса, так и сидел изогнувшись, пока дорога не пошла лесом.

После смерти мужа мать Петра продержалась недолго, и скоро он снова появился в селе. Был март. Солнце светило ослепительно ярко, и ещё не стаявший снег только усиливал белизну и чистоту мира. И было чувство, что не в землю хоронят человека, а отпускают в этот чудесный свет. Удивительное было чувство. Почти весь следующий день Пётр провёл в сельсовете. Долго разговаривал с председателем, Егором Тимофеевичем, который был на два года старше и вернулся с войны как раз, когда забирали Петра. Вернулся без руки и с тех пор председательствовал. Затем к ним присоединился парторг. Этот был из городских, но спокойный, особо в сельские дела не лез и больше воспринимал своё назначение как спасительную ссылку. Мужики курили, поминали тётку Настю, что-то решали. Утром Пётр заколотил окна родительского дома и уехал. А через месяц, когда уже стаял снег, вернулся и стал строить новый дом.

Землю Петру выделили на окраине села, как раз за церковью. Церковь эта считалась кладбищенской. Само кладбище было чуть дальше, за небольшим овражком, в подлеске, и так повелось, что отпевали человека, а потом уж с версту несли на руках до места упокоения. После того как в тридцатые годы закрыли большой храм в центре села, а уже во время войны его окончательно порушили, растащив на всякие хозяйственные нужды, кладбищенский храмик во имя Успения Пресвятой Богородицы стал единственным и, стало быть, главным. Возле церкви стоял небольшой домик, который приехавший в начале шестидесятых молодой поп Николай достроил, расширил и украсил садом. Начальство такому расширению нечаянно появившегося подворья не препятствовало. Во-первых, после того как Хрущёв, обещавший показать последнего попа, сам угодил в расход, на религию вышло послабление, во-вторых, отец Николай тоже воевал, причём, по слухам, чуть ли не вместе с председателем сельсовета, оба молчали об этом, но другого объяснения такому снисходительному отношению власти к ожившей церкви местные жители не находили. Новый же поп чем-то напоминал парторга: служил себе, отпевал, крестил, причём не тайно, а в церкви по всем правилам, даже венчал. Впрочем, это была совершенная редкость, и оба раза венчал он пары из других сёл, и оба раза пары были уже совместно прожившие не один год, и вот подвигло их. Вообще, надо заметить, что народу в церкви, особенно в праздники, набивалось достаточно, приходили из округи и об отце Николае говорили хорошо.

И получилось так, что Пётр, пристроившись к саду отца Николая, начал новую улицу. В дальнейшем село прирастало домами именно в этом направлении. Дом из добротного кирпича, каких на селе ещё не было, он построил быстро, благо, помогал сельсовет, да и деньги на шабашников у Петра имелись. Однако, возведя стены и устроив крышу, особо обустроиваться не стал, оставил заниматься отделкой

нанятую бригаду, и после того как те, покончив с обязательствами, уехали в поисках новых заработков, двор стоял пустой и необитаемый, словно заброшенный. Особенно это кололо глаза, когда рядом поднимался и зеленел поповский сад. Пётр на такие пустяки внимания не обращал, а целыми днями пропадал на территории, выделенной под организацию МТС, начальником которой и был назначен. Иногда и ночевал там, и правда: какой смысл махать три километра в пустой дом, где всё равно шаром покати, а утром снова три, и как-то само собой получалось, что дорожный вагончик, вроде как предназначенный под эмтеэсовскую контору, постепенно становился более обжитым, чем большой кирпичный дом.

После посевной измотанный Пётр сел в автобус и, уже не оглядываясь на село, мгновенно уснул. Водитель растолкал его только на конечной в областном центре. Через неделю Пётр вернулся на грузовой машине. Сам он развалился в кузове, пристроившись на тюках, и, когда дорога была более-менее ровной, пытался дремать, а жена и дочка сидели в кабине.

С приездом семьи двор ожил, но как бы по необходимости. Елена Петровна впечатлила всех статью и уверенностью. «Крепкая баба», — не то с завистью, не то с опаской отозвался о ней Данилыч, и это определение приклеилось к Елене Петровне. Она приняла определение благосклонно и скоро устроилась в недавно открывшееся почтовое отделение.

Тем временем село в шестидесятые вздохнуло и начало понемногу расправляться. Почту открыли в новом доме, в котором тут же были и телефонная станция, откуда можно позвонить куда угодно, хоть даже в область, и отделение сберегательного банка, и парикмахерская, смысл которой прояснился, когда туда стала ходить жена парторга, а потом потянулись и другие дамы. На следующий год после открытия почты ожидался хороший урожай, и решили осенью заложить новую школу. А потом провести в село газ. Жить становилось и правда веселее, к тому же вот-вот ожидался коммунизм и всем не терпелось посмотреть, что это такое.

Дочке Петра, Кате, шёл тогда десятый год, и она-то как раз поразила больше всех: если Пётр, хоть и скитавшийся по стране полжизни, был свой, если Елена, стремившаяся вырваться из сельского тягла, была всё-таки деревенской и прошлое нет-нет да и прорывалось в ней, то дочка явилась словно из другого мира. И, может быть, именно поэтому красота её казалась неземной и оттого ещё более притягательной. При этом она совершенно не походила на своих родителей, разве что твёрдым характером. Было в ней нечто особенное, что не то чтобы выделяло, а заставляло относиться к ней иначе. Как, например, к артистке кино. Тогда кино было событием в селе, Дома культуры ещё не было, и летом, когда приез-

жал киномеханик Ваня и растягивал экран на большой поляне за околицей, собирались все. И все были влюблены в девчат и девицу-корнета, но эти влюблённости были теплы, приятны, но никто не ждал ничего ответного. Все эти чудесные девушки вроде бы существовали, были живыми и в то же время оставались нездешними. Примерно такие чувства вызывала и юная Катя.

Конечно, она чувствовала такое отношение, но это не мешало общаться со сверстниками, принимать участие в общих школьных делах, в играх. Хотя как раз шумные игры Катя не любила, чаще оставаясь сторонним наблюдателем, но ходила со всеми в лес, на речку, зимой каталась на коньках на замёрзшем пруду, но всё казалось, что не вся она отдаётся детским забавам, какая-то часть её, может, самая важная, остаётся в ином измерении. Окружающие чувствовали это, и с годами это ощущение только усиливалось. Наверное, поэтому никто из парней и помыслить не мог о Кате как о своей девушке, тем более невесте, сама же Катерина, казалось, несильно переживала из-за этого.

Пётр же пропадал в своей МТС. Казалось, что её заботы его волновали больше, чем семейные хлопоты. Хотя какие хлопоты? Жена нормально устроилась и через пару лет из человека, выдававшего и принимавшего посылки, стала начальницей отделения. Это случилось само собой и воспринято сельчанами как вполне естественное дело: кем же ещё могла быть Елена Петровна, как не начальницей. Она ею и стала, закрепив за собой статус «крепкой бабы». Пётр тем временем наладил работу станции так, что ему дали в области грамоты как передовику, а ещё у него стало появляться свободное время. Проводил он его, впрочем, не дома, а полюбилось подниматься на небольшой взгорок, который издревле именовался Власьев Пуп. Стояла там разлапистая, мощная сосна, тени от неё толком не было, но всё равно в жаркий день часто можно было видеть Петра, который сидел под сосной на лавочке, которую сам и соорудил. Со взгорка далеко просматривались поля, и Пётр был похож на полководца, следящего за ходом битвы. И если вдруг приключалось какой-либо из машин остановить движение, то Пётр сходил со своего поста и размашисто шёл выяснять причину. Порой надо было идти несколько километров, но Пётр не сбавлял хода, словно само его движение было как заводящий ключ, и часто бывало так, что Пётр не успевал дойти, как остановившаяся машина начала движение, словно испугавшись приближающегося командира. Тогда Пётр поворачивал обратно и мог просидеть на лавочке до захода солнца. Солнце опускалось в лес за спиной Петра, и тогда картина перед ним приобретала причудливые краски и очертания. Тени растягивали предметы, придавая им ещё одно измерение и как бы приоткрывая тайную их сущность. И казалось, вот уже можно что-то понять в лучах закатного солнца, но каждый раз в самый по-

следний миг солнце проваливалось, всё вокруг разом смешивалось и теряло смысл.

Вдоль леса, огибая Власьев Пуп, тянулась дорога до соседнего села. Как-то Семёнов Василий повёз туда на подотчётном грузовике к родне тещу и заметил, что Пётр Николаевич сидит не на привычной лавочке, а привалившись к сосне, и голову свесил так, словно ему всё равно, что происходит с подвластной техникой. Так-то бы, может, он и остановился, но стремление быстрее отвезти тещу не допускало и минутной задержки. Возвращался Василий уже вечером, весёлый и немножко хмельной, и, к удивлению, заметил Петра Николаевича в том же странном положении. Вообще-то Василий давно хотел спросить у Петра Николаевича, как ему так удаётся проникнуть в нутро любой машины, да и вообще спешить было некуда. Он остановил грузовик у покатоного подъёма на Власьев Пуп и пошёл к сосне. Поднявшись наверх, он окликнул Петра Николаевича, затем подошёл ближе и досадливо хекнул: «Не судьба... Теперь и не спросишь...» Затем взвалил мёртвое тело на спину и потащил к машине.

Елена Петровна и Катерина остались вдвоём. Но это никак не изменило сложившегося уклада: Пётр словно ушёл на свою МТС и остался там.

4

В конце шестидесятых на село под благовидным словом «мелиорация» двинулась химия. До этого горожан здесь знали как дачников и отдыхающих, да и то редких: всё-таки до областного центра было более ста километров и при желании отдохнуть на природе ехать в такую даль было необязательно. А к тем, кто приезжал, относились по-доброму, и городские вели себя мирно, ни на что не претендовали и в сельскую жизнь не вмешивались. От химии же деваться было некуда. Она распространялась неотвратимо и злое ще, как рак, оставляя то здесь, то там свои метастазы.

В нескольких километрах от села появился посёлок мелиораторов. А вместе с ним, на взгляд сельчан, и весьма разбитной народ, в большинстве шатающийся по стране от стройки к стройке. Пришлые твёрдо знали своё дело, и окружающий мир, в том числе и село, был для них лишь объектом приложения сил, которому они несли благо и цивилизацию. Впрочем, так рассуждали лучшие. Остальные довольствовались неукоренённой жизнью перекачиполя, издалека весьма романтической — с трудовыми подвигами, гитарами и винцом, неким братством и розовыми мечтами. Но было в этой бесшабашной жизни что-то невыносимо тоскливое, что толкало вдруг подняться уже с вроде бы обжитого места и броситься совсем в другую степь. Словно гонит что-то человека. Ищет, ищет он, а чего ищет — и сам не знает. А может, и знает, только боится остановиться, заглянуть в себя и признаться.

Им оставалось только выставлять себя напоказ и утверждать, что это и есть настоящая жизнь. А ещё с презрением относиться к тому, что могло напомнить о том, что есть и другая. Спротивляться их напору было сложно, порой думалось: может, они действительно знают доселе неизвестную правду, вон ведь как живут, словно на празднике.

И Катерина не устояла. А может, она и не стремилась стоять, может, она только и ждала, чтобы кто-то не заметил её нездешности, чтобы для кого-то она стала обычной девушкой. И такой нашёлся в новом посёлке. Эх, да и был бы мужик, а то так — человечишко. Видели его в клубе: высокий только, а так худой и чернявый, на цыгана похож. И Катерина сбегала с ним. И не в посёлок, а сразу куда-то далеко, откуда уже не достать, не выковырять...

Мать Катерины, Елена Петровна, бегство дочери переживала очень тяжело. Сидела в пустом доме и всё сильнее ненавидела село, которое, казалось, только зубоскалит и тычет в неё пальцем: вот, мол, хвасталась Катенькой, и такая она, и растакая, а где теперь твоя красавица? И это «где» глухо отдавалось в сердце, потому что она сама не знала — где? Неожиданно выяснилось, что по каким-то армейским делам она имеет возможность раньше уйти на пенсию. И она ушла. Всё реже появлялась на улицах, даже на огороды стала ходить по ночам. Жуткое настало время для Елены Петровны. А когда дочь вернулась через год с ребёночком на руках, не пустила. Иди, говорит, откуда пришла. Видеть тебя не могу. Нету у меня через тебя жизни, нету.

Села Катька при дороге, всё такая же красивая и нездешняя, только теперь с ребёночком на руках и узелочком в ногах, и ни одной слезинки не было на её окаменевшем лице. Проходящие люди, взглядывая на неё, опускали глаза и ускоряли шаг, а подойти не решался никто.

Долго она сидела, потянуло с реки, и небо на западе засинело. Мимо случаем проходил местный поп Николай, а может, и не случаем: поп-то тоже по селу без дела не ходит. «Ты чего, — говорит, — милая, тут расселась, а ну пошли». Взял её за руку, а та одервенела вся. Стал поп потихонечку за руку тянуть, та и поднялась. Так он и увёл Катьку к себе.

А ребёночек-то оказался совсем и не мёртвый, как многие, видевшие сидевшую при дороге Катьку, подумали, а просто тихий и ласковый. Звали девочку Любовью. Так и окрестили.

А через неделю влетела на попов двор мать Катерины да давай рычать и жутко браниться: одни-де девку сманили, так теперь попы увели, ну и дальше всё в таком же тоне и даже хуже. Отец Николай поднялся с лавочки, прикрыл собой Катю с дитём и говорит матушке своей Ксении, чтобы та святой водички принесла. Только матушка с ковшиком появилась, как Катькина мать выхватила из лежащих в углу двора горбылей, которые отец Николай всё собирался пустить на забор, жердину, да такую, что и

здоровому мужику не потянуть, и замахнулась на попа. Тот, бедный, только и успел руки вверх поднять, чтобы голову прикрыть, но то ли жердина оказалась не по силам, то ли матушка, а может, и Катерина, что сказала, то ли ещё что, а вскрикнула Катькина мать тонко и жалобно, как подстреленная кряква, и закаменела в своём размахе, рот распахнулся для какого-то страшного глубокого вздоха, и глаза сделались невероятно большущими, словно она весь мир увидела и очень ему удивилась. Остальные — поп с поднятыми руками, матушка с ковшиком и Катерина с дочкой в кулёчке — тоже замерли, растерявшись. Долго секунды тикали, пока отец Николай не опустил руки. Потом подошёл к супротивнице и вынул из рук её жердину. Потом взял у матушки ковшик и вылил его весь на Катькину мать, тут та и рухнула оземь лицом вверх, да так и осталась лежать с открытым ртом и развёрстными глазами.

Отнесли её в дом, сбежали за доктором, которого все звали Пилюлькиным, тот беззлобно откликнулся, хотя по вечерам и грустил, вспоминая, что зовут его Сергей Пантелеевич и у него есть на фиг не нужный диплом, потому что единственным правильным лекарством является медицинский спирт. Но человек он был умный и, осмотрев больную, изрёк: «Это, отец Николай, по твоей части». Отец Николай отслужил молебен, помазал маслом, но только рот прикрылся и глаза перестали вызывать ужас. Повезли Елену Петровну в район, там сказали, что случился паралич, да ещё какой-то не поддающийся медицине, и лучше бы ей помереть, и даже предложили место в таком специальном заведении для ненужных, на что Катерина обиделась и увезла мать домой.

А паралич-то у неё и правда оказался странный: встать с топчана она не могла, а голова работала. И язык. Ух и костерила она Катьку! Считай, без остановки. А то ещё изловчится и ножкой дрыгнет, вроде как пнуть её хочет. Ну, это поначалу она ножками дрыгала, а после и они отнялись. Потом язык зачах. А потом и вонять начала. Тогда Катерине помогли сделать небольшой пристрой к дому, куда и перенесли немощную Елену Петровну.

Так они и жили втроём — бабушка, мама и Люба.

5

Итак, был летний знойный сельский день. Люба возвращалась из школы, где наводили порядок перед началом учебного года, когда услышала:

— Девушка, подождите!

Слово «девушка» Люба никак не могла отнести на свой счёт, да и на «вы» к ней никто никогда не обращался, но почему-то оглянулась — её догонял незнакомый молодой человек, сухощавый, но элегантный, в светлом костюме и белой шляпе, которая больше всего и удивила Любу, до этого она такие видела только в кино.

— Здравствуйте, — сказал молодой человек, подойдя ближе.

— Здравствуйте, — ответила Люба, стараясь сморщить на сидящую на заборе ворону.

— А скажите, милая девушка... — Тут незнакомец невольно обернулся, посмотрел в сторону вороны, но ничего интересного не заметил.

Обращение «милая девушка» вызвало необъяснимую бурю чувств в неопытной девичьей душе, и Люба так впилась взглядом в бедную ворону, что та не выдержала и улетела.

— Гм, — издал звук молодой человек, видимо, желая привлечь внимание. — Я тут, кажется, малость заплутал, не подскажете, как пройти к церкви?

— Церковь! — ожила Люба. — Так это вон за теми домами, — и, сама не ожидая от себя такой дерзости, предложила: — Давайте я вас провожу, — но тут же поправилась: — Я всё равно в ту сторону домой иду.

— Буду очень признателен. — Молодой человек тронул шляпу, изобразил полупоклон и чуть отступил, давая понять, что готов следовать за Любой.

— Ой! — сделал несколько шагов, вспомнила Люба. — А церковь-то закрыта.

— Как закрыта? — удивился молодой человек.

— Службы нет, так чего её открытой держать, вот и запираем от греха. А если вам отец Николай нужен, так его дом рядом. Только его сейчас нет: он с утра в Васильевку отпевать уехал.

Молодой человек немного смутился и задумался.

— Я просто зайти хотел... знакомлюсь... Приехал вот только, сказали, что церковь есть, дай, думаю, схожу...

— У нас только на службы ходят, а сейчас все на работе — кто в поле, кто где.

Молодой человек смутился ещё больше.

— Да вы не переживайте, — пожалела знакомого Люба. — Если надо, то я за ключом сбегу. Мы рядом живём, вы только стойте здесь, никуда не уходите, — наказала она и метнулась к дому.

Не успел молодой человек осмыслить происходящее, как Люба, чуть запыхавшаяся и радостная, уже стояла перед ним, показывая большой ключ.

— Вот, пойдёмте.

— Вы прям как Буратино с золотым ключом, — невольно улыбнулся незнакомец.

— Никакая я не Буратино, — обиделась Люба и опустила руку.

— Нет, простите, это я так, просто вы сейчас такая... такая светлая, словно мы идём открывать потайную дверцу от счастья.

— Ничего я не светлая, — ещё тише ответила Люба и строгим голосом спросила: — Так вы идёте?

— Да-да, — спохватился молодой человек. — Простите ещё раз, я не хотел вас обидеть. А как вас зовут?

— Люба, — совсем прошептала Люба и пошла по дороге, глядя куда-то далеко-далеко, за лес, за речку, за небо.

— Я так и подумал! — воскликнул молодой человек и поспешил за девушкой. — А скажите, — спросил он, когда они прошли некоторое время молча, — во имя кого ваша церковь?

— Во имя Успения Божией Матери.

— Большая церковь?

— Большую перед войной снесли, а эта в низинке так и стоит. Она раньше кладбищенской считалась. Тут отпевали и на кладбище несли, оно недалеко. А теперь одна на всю округу.

— А вы что же, служите там?

Люба хотела сказать «да», но задержалась с ответом.

— Мама — староста, а я помогаю... — и добавила: — Иногда...

Молодой человек хотел спросить ещё, но тут оказалась церковь, и в самом деле небольшая, но крепенькая, как гриб-боровичок, укрывшийся от тихих охотников с ножами.

Люба отомкнула большой висячий замок, и молодой человек, широко перекрестившись, ступил внутрь.

Маленькая на вид, внутри церковь оказалась просторной. Солнечные лучи почти не проникали в неё, и после яркой и знойной улицы сразу окутала прохлада и таинственный полумрак, молодой человек даже передёрнул плечами, словно его коснулось нечто необычное. Невероятной дерзостью показалось вступать в этот мир и покой, но молодой человек прошёл к аналою и, снова широко перекрестившись, приложился к праздничной иконе, потом стал медленно идти вдоль стен, вглядываясь в лики. А Люба осталась у выхода и прикрыла глаза: так хорошо было чувствовать это необычное, будто оно обволакивает и утешает. А отчего утешает? Так всё чудесно вокруг! Отчего же утешает? Отчего же вдруг хочется плакать?..

Вдруг открылась дверь. Люба вздрогнула. Молодой человек обернулся. На пороге, опираясь на посох, стоял ссутулившийся старик в рясе. Волосы его были не прибраны и космами шевелились вокруг головы. Лицо в ударившем светом дверном проёме казалось тёмным пятном, видны были только сверкавшие гневом глаза.

— Это что?! Кто позволил? — Голос его оказался крепок и грозно раскатился по церкви.

— Батюшка! — кинулась к нему Люба. — Тут человек из города приехал, церковь хотел посмотреть, а вы же в Васильевку поехали, я и пустила.

— Кто тебя благословлял? А? Кто — спрашиваю? Мать знает?

— Нет... Она на ферме... Простите, батюшка... Я думала, вот человек... в церковь хочет... это ж хорошо... человек хороший...

— С чего взяла, что хороший? Может, он экстрасенс или мормон какой?

— Я не подумала, — пролепетала Люба. — Простите...